

...Разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление...

Лермонтов. Герой нашего времени

Разговор становился уж очень отвлеченным, заоблачным, к тому же с каким-то inferнальным оттенком, а для дружеской вечеринки, или, как сейчас говорят, *корпоратива*, это, конечно, непозволительно. Более того, это скверно, нарушает все приличия, отдает дурным вкусом. Но, увы, так бывает, и довольно часто: тот, кто болтал без умолку вначале, развлекал публику, сыпал островами, шутками, каламбурами, под конец увядает. Зато молчуны получают возделенную возможность хоть как-то заявить о себе, обозначить свое присутствие и подхватывают разговор, хотя и уводят его в непроходимые дебри, отстойники и выгребные ямы, без которых не обходятся наши

привокзальные сортиры (кажется, меня повело немного не туда, вы уж меня простите).

Так получилось и на этот раз: когда за столом почти все замолкли, двое скучнейших *половиков* (так у нас называют плановиков, о которых все вытирают ноги) с тридцатилетним стажем стали крутить свою заунывную шарманку. Крутить и спорить о том, каких грешников будут вертеть над огнем, чтобы с них капал растопленный жир, каких варить в кипящем, измазанном сажей котле, а каких сажать на кол. Это, разумеется, вольный пересказ их беседы, ее, так сказать, общий смысл, к которому, по мнению большинства, сводятся все на свете отвлеченности: их ведь у нас очень не любят и не жалуют.

Поэтому наши милые дамы откровенно заску-
чали, томно зевая и напуская на лица выражение
кокетливой меланхолии. Мужчины начали жадно
курить, оркестранты — укладывать в футляры свои
тарелки, барабаны и саркофаги... пардон, саксо-
фоны (все-таки я сегодня изрядно набрался, хотя и
обещал себе много не пить), а официанты — уби-
рать посуду и уносить бутылки, прежде всего выби-
рая те, на дне которых оставалась кое-какая пожива.

И лишь два наших философа упорно продол-
жали спорить и даже этак увлеклись, расхорохо-
рились, ударились в азарт — словно от нетерпения
поскорее попасть на вертел или на острие осино-
вого кола.

Но их если и слушали, то недолго, и общество
против них дружно восстало:

— Ну хватит, господа. Пощадите. Давайте о
чем-нибудь попроще и повеселее, а то эти ваши
отвлеченности... Право же, надоело, мы устали.

Один из споривших, худой и сухощавый, бла-
городной внешности, с бородкой лауреата Гонку-

ровской премии, но при этом — с йодистого цвета
лицом и каким-то медицинским прибором, выпи-
рающим из-под пиджака, обернулся на эти слова:

— Да ведь вся наша жизнь — сплошные отвле-
ченности. И чем она проще, тем загадочнее. Вот
у меня вырезана половина желудка, я и жить-то
не должен, благодаря же каким-то трубочкам,
шлангам и краникам не только живу, но и фило-
софствую. Загадка!

— Полноте, любезный, — возразил ему корот-
ко стриженный, гладко причесанный, с пиявочным
отливом волос крепыш, — оставьте ваши трубоч-
ки медицине. Но что загадочного, к примеру, в
том, что я сижу и курю? Или в том, что у меня дочь
восьми лет? Для нее я на воскресенье взял биле-
ты в цирк — лучшие места. Она будет хрустеть
вафельным стаканчиком мороженого, болтать
ногами и смеяться до упаду, глядя, как клоуны в
огромных ботинках гоняются друг за другом по
манежу, колотят один другого невесомыми чу-
гунными гирями и истощно вопят.



Гонкуровский лауреат возразил:

— Цирк — это, может быть, самое загадочное и отвлеченное из всего, что я знаю. Неизвестно, что в нем происходит по ночам, когда никого нет. А уж клоуны-то с их огромными ботинками — воплощение самых утонченных абстракций. Если позволите, я вам кое-что расскажу — о нет, не историю. Истории рассказывать сейчас не умеют, а так, кое-что... анекдотец. Все-таки у нас оплачено до двенадцати, и время еще есть.

— Ну, пожалуйста, расскажите, раз уж вы столь педантичны по части времени, — смирился пивячатый крепыш.

— По части времени — да, пожалуй, — подхватил гонкуровский лауреат. — Время сейчас прекрасное! Все отстойники прежней эпохи позолотили, выгребные ямы, — он старался не смотреть в мою сторону, — выложили мрамором — красота! Вот только немножко воняет, из-под мрамора-то потягивает, но это не беда, и мы не в претензии. Ведь Россия — это сплошная, бесконечная провинция, хоть у нее и две столицы. Поэтому у нас ко всему привыкли.

— Вы и сами, кажется, из провинции? — уточнил крепыш.

Гонкуровский лауреат не ответил и начал рассказывать.

I.

В нашем городе нет стадиона. Это всем известно, и не стоило бы об этом упоминать, если бы стадион у нас просто отсутствовал, а не прекратил неким образом свое существование. Он же именно прекратил и при этом не оставил никаких следов — не только на местности (там все быльем поросло, разметка беговых дорожек лишь кое-где угадывается, а к покосившимся столбам от футбольных ворот привязывают бельевую веревку), но и в памяти целого поколения горожан, родившихся позже его исчезновения. Да, лишь только стадион наш исчез, рождаемость стала побивать все рекорды. И не только, так сказать, в одиночном, но и командном зачете, поскольку с той поры преимущественно двойни и тройни оглашали родильные палаты истошным криком.

Поэтому я уж упомяну — ради новых-то поколений, коих я приветствую вслед за поэтом. Здравствуй, племя молодое, незнакомое, и проч., проч.

Впрочем, пафос здесь неуместен, и я прошу впредь меня одергивать и не позволять слишком уж расходиться. Поэтому ограничусь тем, что в силу моего преклонного возраста засвидетель-

ствую: стадион у нас был. В подтверждение этих слов могу каждому любопытствующему точно указать место на пустыре, за свалкой, где когда-то бегали стометровку и гоняли мяч. И как гоняли! При ударе искусно подкручивали его, чтобы он, совершив дугообразный полет, плавно влетел в ворота.

Впрочем, я снова впадаю в пафос. Влетел в ворота! Такое, увы, случалось редко: гораздо чаще мяч вместо ворот улетал на трибуны к зрителям, и приходилось вбрасывать другой, но и тот улетал, после чего зрители свистели, топали ногами и расходились.

Словом, не пошло у нас.

Не хватало настоящих игроков (чтобы выписывать их, к примеру, из Сенегала, у города не было средств: казна не позволяла), а без них какая ж игра. Поэтому стадион сначала опустел, а затем зачах и захирел, о чем многие у нас жалели, особенно из числа испытанных болельщиков, умеющих свистеть в два пальца, размахивать сорванной с головы засаленной кепкой и кричать на всю округу: «Судью на мыло!» Жалеть-то жалели, хотя исправить ничего не могли.

Но со временем футбол по всему миру приобрел такие варварские, дикие формы, что наша жалость сменилась сначала пугливой, недоверчивой радостью, а затем восторгом и ликованием. И слава богу, что нет! И не нужно! Зачем нам столкновения фанатов, драки, увечья, разбитые витрины, поджоги машин и прочие выплески футбольного азарта! Мы уж как-нибудь без этого обойдемся.

Мы вместо футбола будем смотреть, как перебрасывают мяч дрессированные тюлени, енот стирает белье, заяц выбивает дробь на барабане и прыгают в огненные кольца львы. И обитатели нашего города повалили в цирк, где сразу начались аншлаги и подскочили сборы. Казалось бы, вот она, удача, — держи за хвост и не выпускай. Но случилось несчастье — умер старый клоун дядя Миша, любимец публики, особенно, конечно, детей, которые его просто обожали и боготворили. Ждали с лихорадочным нетерпением, когда же, зачерпнув из глубокого кармана, он бросит им горсть конфет.

Хотя и взрослые от души смеялись шуткам дяди Миши, тем более что он прохаживался по здешним властям, не боялся их всячески подкалывать, подпускать им шпильки, а они терпели и делали вид, будто благодарны ему за справедливую критику. Даже с озабоченным видом что-то черкали в блокнот, словно перед столичным начальством, и надо было видеть выражение на их лицах — лицах благочестиво-кротких служителей

исполнительской дисциплины. Обещали исправиться, навести порядок: понимали, что иначе на ближайших выборах их с позором провалят.

Доставалось от него и нашим толстосумам-олигархам. Те натянуто и слащаво улыбались шуточкам дяди Миши, поскольку тоже выставляли свои кандидатуры на выборах и были вынуждены заботиться об общественном мнении, иначе бы дяде Мише, конечно, несдобровать. После угроз по телефону подкараулили бы в подъезде и отбили все внутренности, чтобы кровью харкал, чтобы впредь (если останется жив) было неповадно просунутым сквозь решетку прутиком дразнить и заставлять рыкнуть спящего льва.

А так ему все сходило с рук: выборы есть выборы...

Лишь церковь не то чтобы не жаловала дядю Мишу, но проявляла некую тревогу, озабоченность, обеспокоенность: «А ну как из него нового святого сделают, так сказать, причислят к лику. Шут и фигляр будет грехи отпускать».

Я дружил с дядей Мишей: мы жили на одной улице, рядом с последней остановкой трамвая. И часто бывал у него дома, в коммунальном закутке с продавленной раскладушкой, пустой цирковой гирей, на которой намалевана белилами цифра 100 кг, и подвешенной к потолку резиновой клизмой, заменявшей ему боксерскую грушу. Он любил меня лечить разными настойками, а чаще водочкой, которой приписывал всевозможные целебные свойства. «Сам-то как?» — спрашивал я его, а он все отмахивался, отшучивался, хотя за бок при этом держался.

И тут на беду ему посоветовали: греть на огне булыжник и прикладывать к боку — прогревать, чтобы выгнать рака. Дядя Миша послушался и тем ускорил дело: рак только этого и ждал, чтобы его стали тревожить, выкуривать, выгонять с насиженного места и он смог бы в отместку побольнее цапнуть своей клешней.

И вот не стало дяди Миши.

Случилось это весной, в самое чудесное время, когда набухли почки у вербы, треснул и двинулся на реке грязновато-зеленый, камуфляжный лед. Главную площадь нашего города запрудило горчичной, лениво колыхавшейся пенистой водой, в которой раскачивались сплящие солнечные обручи. Хозяева двухэтажных домишек широкими цинковыми лопатами сталкивали с крыш снежные оползни, очертаниями напоминавшие Африку и Южную Америку, и шестами сбивали гипербореикие сосульки. И на кладбище было не пройти от смородино-черной грязи с мутными озерцами талой воды, и сторожа говорили, что недели через

две-три подсохнет и зацветет персидская сирень, которую так любил дядя Миша.

II.

После смерти дяди Миши долго искали ему замену — считай, все лето. А лето было душное, с тополиным пухом, носившимся в воздухе, дымящими торфяниками и вытоптанными до табачной желтизны коровьими лежанками под дубами (у нас на окраине все еще пасут коров, и пастух по утрам щелкает веревочным кнутом). Немые зарницы полыхали над лесом, и овраги пересохли так, что их вскоробившиеся днища казались усыпанными черепками разбитой глиняной посуды.

Искали, но никак не могли найти.

В городе второго дяди Миши не было — разве что его закадычный приятель, восторженный (при этом завистливый и ревнивый) поклонник и подражатель долговязый Кадик, цирковой завсегдатай, вместо обоев обклеивший свою комнатушку старыми афишами и гашеными контрамарками. Контрамарки ему выдавали за то, что он оглушительно хлопал и бросал под ноги артистам цветы, сорванные на клумбах. Было известно, что Кадик тоже комиковал, стараясь не уступать дяде Мише. Но выступал он лишь после второй бутылки. Да и то сбивался, все путал, перевирал, ради пьяных амбиций пытался добавлять что-то свое, но так неудачно, грубо и аляповато, что было ясно: не потянет, кишка тонка.

Директор Самсон Багратович, толстенький, круглый, с усиками над маленьким детским ртом и двумя клоками волос на висках, про него и слышать не хотел. Требовал привести ему истинного, прирожденного, артиста. А где такого взять? Всю округу переворошили, из Москвы пытались сманить — сулили золотые горы, оклад, как у футбольных бомбардиров, чуть не бесплатное жилье в рассрочку, но никто не купился. Более того, находились насмешники, утверждавшие: мол, не там ищите, клоуны теперь не в цирке, а поближе к Кремлю, рубиновым звездам. Иными словами, в Охотном ряду.

А без клоуна какой же цирк. Конферансье с его остротами, фраком и бабочкой в мелкий горошек клоуна не заменит. Укротителям и воздушным гимнастам красные носы не прилепишь. Образно выражаясь, мячи снова полетели в никуда — на трибуны к зрителям. Аншлаги скисли. Сборы сразу упали — хоть закрывай цирк. Директор Самсон Багратович стал грозить, что сам натянет клетчатые штаны, огромные ботинки, нарумянит щеки, прицепит красный и нос и выйдет на арену потешать публику.

И тут под видом заботы о цирке к директору пожаловал важный гость, хорошо известный в нашем городе. Он подкатил с бритоголовой охраной на черном джипе. Небрежно уронил перед секретаршей несколько заморских купюр, мягко спланировавших ей на стол. Бесшумно и вкрадчиво, словно в чужую квартиру, проник в кабинет, деликатно взял из рук директора телефонную трубку (тот собирался звонить) и положил на рычаг.

Это был один из наших олигархов — Рома Быков, большегубый, с красивыми карими глазами на грубом, иссеченном шрамами лице, узкой выгнутой спиной (казался немного сутулым) и впалой грудью доходяги, которого в детстве постоянно возили по туберкулезным санаториям. Кроме того, по нервической судороге на лице и подергивающимся плечам чувствовалось, что он психопат и истерик. Словом, рамсит.

Быков, как о нем говорили, держал подпольные казино, тогда еще разрешенные. Но он на всякий случай их задрапировал, занавесил, замаскировал под клубы и, как показало время, оказался прав: повсюду стали запрещать, а его не тронули. Поговаривали, что откупился, но причина была не только (вернее, не столько) в этом.

Рома имел десять судимостей и столько же правительственных наград, врученных ему за своевременный демократический выбор, умение поклясться в верности до гроба. Поклясться и выпить три стакана водки, преданно глядя в глаза. За это и дали ему подняться, а когда сменилась власть, опускаться не стали: авось понадобится.

Состоялся разговор меж ним и директором цирка, причем Рома Быков выставил на стол такой коньяк, какого Самсон Багратович, к своему стыду, (как-никак армянин из Еревана) ни до, ни после не пробовал. Вместе помянули дядю Мишу. Рома пожаловался на козни конкурентов и враждебность новых властей: «Житья не дают», а Самсону Багратовичу (он был туговат на ухо) послышалось, что — жилья. И он немало удивился, даже возмутился (как это такому человеку, о которого спички можно зажигать, не дают жилья!).

Выразил горячую готовность посодействовать, и тот терпеливо, даже с удовольствием слушал, не пытаясь его поправить, а затем сказал (доверительно признался), что за последнее время изрядно обнищал, заключив два невыгодных контракта, да и вообще профинтил, поистратил накопленное и что поэтому ему нужна... война.

— Война? — спросил Самсон Багратович, на этот раз безнадежно уверенный, что уж тут-то он наверняка ослушался.

Но оказалось, что слух его не подвел и речь шла именно о войне. Правда, Рома стал сглаживать, округлять, чтобы ниоткуда не торчало, не выпирало и не кололо:

— Ах, вы не подумайте. Я тоже хорош: напугал вас. Не в глобальном масштабе, конечно же, а так... маленькая местная война, даже без особых выстрелов.

— Для чего?

— Чтобы решить кое-какие проблемы. Так часто бывает: в мирное время проблемы накапливаются, множатся, пухнут, и нужна война, чтобы с ними управиться. Да и надоедает изрядно мирное-то житье. Скучно становится. Вернее, как-то муторно, томно, тягуче, словно в туберкулезном санатории...

— Но ведь любая война — это жертвы, страдания невинных. Да и под каким предлогом? Снова эрцгерцога Фердинанда прикончить, да где ж его теперь найдешь?

— Ну зачем же. Достаточно самого пустячного, даже смехотворного предлога, как в цирке. Ударил пустой, резиновой гирей по голове, облил краской из ведра, подставил подножку — и война. А жертвы? Ну, пострадают немного, зато и очистятся, как у Достоевского или кого там еще из классиков. Впрочем, я вижу, что вы меня не совсем понимаете. Будем считать, что я пошутил и разговора у нас не было.

Самсон испугался, что дал промашку, спохватился, стал доказывать, что, наоборот, все прекрасно понял, но Рома Быков смотрел мимо, без всякого интереса.

— Ну, а как у вас в цирке? Я слышал, трудности? Готов помочь...

Самсон Багратович посетовал на нехватку истинных и прирожденных. Снова помянули дядю Мишу: выпили, не чокаясь, и коньяк лег как бархат. Роман сказал, что есть у него на примете клоун.

— Берег для себя — на тот случай, если когда-нибудь куплю ваш цирк с потрохами или создам свой. Но раз такое дело, готов уступить.

— Нам нужен независимый, — скромно заметил директор, и олигарх заверил, что он не позволит заокеанским воротилам и их здешним пособникам вмешиваться в дела нашего цирка и сам со своей стороны обещает...

Словом, они друг друга поняли.

Рома лишь высказал пожелание, что хорошо бы напустить побольше... он так и не нашел нужного слова и поэтому добавил: мистики или гипноза.

— Какая же мистика нужна? — спросил директор, не совсем понимая, о чем речь, но делая вид,

что ему лишь нужно выбрать из всех видов мистики наиболее подходящую.

— Какая? — Роман удивился тому, что и здесь приходится ломать голову — выбирать, но быстро нашелся: — Разумеется, самая демократическая.

III.

Хотя Рома, прощаясь с Самсоном Багратовичем и выливая ему на голову тонкой золотистой струйкой недопитый коньяк, просил зря не болтать — не базарить попусту об их разговоре, эти меры предосторожности не возымели действия. Слушок, как дымок, взвился над куполом цирка, а затем, подгоняемый ветром, быстро облетел весь город. При этом он оброс самыми невероятными домыслами, догадками и такими подробностями, какие мог слышать только тот, кто при разговоре присутствовал. Или в нем участвовал, хотя, кроме Ромы и Самсона Багратовича, не участвовал никто...

Сам же обсуждаемый предмет раздули до размеров циркового слона Везувия, который в гневе опрокидывал прилавок буфетчика и расшвыривал кадки с пальмами. Укротить его в такие минуты мог только друживший с ним дядя Миша (Быков же хотел однажды застрелить за неповиновение).

Поговаривали, что цирк теперь снесут бульдозерами, а на его месте построят детский оздоровительный центр. Иными словами, еще одно подпольное казино и притон для наркоманов — так называемый жокейский клуб. Артистов же вместе с реквизитом и их подопечными выставят на аукцион, пустят с молотка.

Вот какую несли несуряцицу. Самсону Багратовичу даже пришлось звонить Быкову, оправдываться и клясться, что он к этому непричастен, что со своей стороны ни единым словом... даже жене... никому.

— Ну уж жене-то наверняка... — сказал в трубку Быков, как бы вовсе не порицая, а, наоборот, всячески приветствуя доверительные отношения и откровенность между супругами. — А жена по дружбе и под большим секретом взяла и выложила все Акимушке — Акиму Бане, моему главному конкуренту и сопернику на выборах. Как не сказать, если они любовники! Это ведь святое...

— Да как вы смеете!.. Да кто вам такое?! — вступился за честь жены Самсон Багратович, но вступился как-то неуверенно, не заносясь, не напирая...

— Вам фотографии по почте прислать или специальным курьером? — спросил Баков, словно

его больше всего заботил способ присылки фотографий.

— Какие фотографии? — с брезгливой щепетильностью спросил директор.

— Фотографии с видами. С видами нашего городка. Вот зимние виды, вот весенние...

— Оставьте их себе. И любуйтесь.

— Мне они как-то ни к чему. Разве что выставить где-нибудь. Для всеобщего обозрения, а? — Быков участливо давал время подумать, прежде чем ответить.

— Умоляю, — тихо простонал Самсон Багратович.

— Лады, лады. Я не настаиваю. Тогда вам остается лишь выбрать вид казни. Ваши пожелания будут удовлетворены.

— Казни для жены? — спросил Самсон Багратович с неясной надеждой, которую Быков сразу отсек.

— Ну зачем же. Для вас. Слух-то от вас пошел. Так что выбирайте, что вам больше нравится — на вертеле жариться или вариться в кипящей смоле. Можем и под асфальт закатать, как того журналиста...

— Какого журналиста?

— Да был тут один... — Рома не желал распространяться о нехорошем, несговорчивом журналисте. — Ну? Выбрали?

Самсон Багратович ответил, как по уставу, как рядовой командиру:

— Вину свою признаю. Обещаю выполнить все, что вы прикажете.

— Вот так-то лучше. Ставлю боевую задачу, — командовал Быков. — Явится к вам Акимушка, разговор записать, с точностью запротоколировать и мне на стол положить.

— Будет исполнено.

Быков там, на дальнем конце провода, бросил трубку, а Самсон Багратович свою трубку еще долго — мечтательно — держал в руках.

IV.

Дня через два явился к нему Аким Баня — борodka цвета опавших дубовых листьев, в белом костюме, вышитой украинской сорочке с расстегнутым воротом и сам белесый, стекловидный, струящийся, разве что не прозрачный.

Явился как простой смертный, с нарочитым смирением, предварительно записавшись на прием. Секретаршу баловать не стал: удостоил лишь шоколадки, маленькой, в простой обертке, какие буфетчицы вместо сдачи дают.

Скромненько сел на потертый пегий диван и терпеливо дождался своей очереди, хотя все в приемной, вдохновленные его присутствием, ему предлагали, уступали, выражали готовность пропустить.

Но Аким отказывался, просил не беспокоиться. И все решили, что не к добру, что чем-нибудь отзовется, что Аким не простит тем, кто оказался свидетелем его добровольного унижения...

Наконец кто-то не выдержал и подмигнул секретарше: ты, мол, шепни там. Секретарша змейкой проскользнула в кабинет, после чего Самсон Багратович сразу выбежал (выкатился), вскинул короткие тюленьи ручки, гостеприимно распахнул дверь, придерживав ее носком зеркально начищенной ботинка, чтобы не захлопнулась:

— Прошу, прошу!..

— Да мы уж как положено... — заскромничал Баня.

Тут все подхватили, словно приглашая его, как артиста, на сцену:

— Просим, просим!..

Тогда Аким снизошел, позволил себя уважить.

Дверь за ним закрылась, и разговор он начал якобы с шутливого вызова, невольной оплошности, случайной оговорки.

Словом, начал так:

— Слышал, Рома Быков вам себя в клоуны предлагает...

После этого он пододвинул к себе стул, но сел на краешек стола. На стул же положил вытянутые ноги.

Самсон Багратович боязливо и застенчиво улыбнулся. Поддержать шутку было бы опрометчиво, но не поддерживать — еще более рискованно и опасно. Поэтому он выбрал среднее: отдал должное остроумию гостя, как бы не догадываясь (ведать не ведая), против кого именно оно заострено.

— Да, с клоунами у нас сейчас плоховато...

Аким тем временем гнул свое:

— А у него бы получилось... Только колпак с бубенчиками ему надеть.

— Вот как умер дядя Миша...

— Да что ты мне про дядю Мишу! Я тебе о Роме Быкове толкую!

— О Быкове? Виноват, ослышался. Это о каком же?

— О том, что у тебя был...

— Ах о Быкове! — Самсон Багратович словно бы подставил истинного Быкова на место ложного.

Подставил и не знал, что с ним делать.

— И что же он от тебя хотел?

— В клоуны себя предлагал, — застенчиво произнес директор, не столько отваживаясь пошутить, сколько придавая особое значение услышанной от Акима шутке.

— Ладно, ты сам, я вижу, клоун. Порешим так. Быков пришлет своего — что ж, пускай. Но у меня тоже для тебя есть подарочек. Возьмешь обоих. Согласен?

Смотревшие в пустоту, безучастные, стекловидные глаза Акима Бани внушили Самсону Багратовичу, что лучше не отказываться. Хотя он и без всяких внушений об этом знал.

— Согласен, конечно... разумеется...

— Отвечай по уставу. Ты не на гражданке.

— Так точно. Согласен. А испытать их можно? Ну, в клоунском деле...

— Испытать? Вообще-то они ребята бывалые, испытанные, но если есть необходимость...

— Слушаюсь. — Директор встал навтыяжку и едва не отдал честь.

— Вот и действуй. Потом доложишь. — Аким перевел взгляд на Самсона Багратовича, словно желая убедиться, что тот понял все как надо и повторять ничего не нужно, и лишь после этого встал и направился к двери, напоследок напомунив директору: — Там тебя народ дожидается. Уж будь любезен всех принять. Ты не на гражданке.

V.

В дополнение к тому, что директора цирка удостоили своим посещением олигархи, к их осадным маневрам подключились и группы поддержки. Иными словами, помимо посещений были еще и звонки: из городской управы, с угольной шахты (она принадлежала Роме Быкову), от дирекции рыбного и тракторного заводов (собственность Бани), из прокуратуры и прочих мест, где могли обитать сторонники того или иного олигарха. Даже из лесничества позвонили, хотя связь была плохой и из телефонной трубки слышались щелканье, хрипы, стоны, подвывание и столь же мелодичные звуки, напоминавшие сопение лося, волка или медведя.

Каждый звонивший начинал издали. Мол, жаркое нынче лето и почти без дождей, разве что чуть-чуть покрапает, давно такого не было. Спрашивал, когда открытие сезона. Сетовал, что так рано проводили в последний путь дядю Мишу, вспоминал его рискованные, крамольные шуточки и, понизив голос для придания ему особой значительности, просил порадеть за своего.

Для одних своим был «тот, что от Быкова», для других — «тот, что от Акима Бани».

Самсон Багратович, конечно, догадывался, что речь идет о кандидатах в клоуны — кандидатах от той или иной партии. И всем отвечал уклончиво, вертко, ничего не обещая, но и не отказывая, стараясь вселить надежду: «Постараемся выбрать достойного. Непременно учтем вашу рекомендацию. Уверен, что победит сильнейший».

А тех, кто слишком наседавал, напирал, угрожал и запугивал, намекая на свои связи, ссылаясь на поддержку неких могущественных сил, директор умел и осадить, срезать заранее заготовленной фразой: «Хватит морочить нас всякой дурацкой мистикой».

И вот в последний августовский день, когда немного спала жара, повеяло зыбкой прохладой — предвестницей осенних заморозков — и стал рассеиваться дым от горящих торфяников, кандидаты пожаловали для первого знакомства — почти одновременно, словно ни одному не хотелось пропустить вперед другого. Пожаловали и, словно боксеры на ринге, сели в приемной по разным углам.

Первым директор принял того, что от Быкова, широкого, распахнутого, словно прячущего под рубашкой развернутую во всю грудь гармонь, с чемоданом, наполненным реквизитом, в огромных ботинках и клетчатых штанах, державшихся на полосатых помочах.

Самсон Багратович усадил его в кресло с овальной (медальонной) спинкой. Затем попросил привстать, словно что-то его не удовлетворило. Кресло чуть-чуть сдвинул, чтобы оно попало в некий мысленно выстроенный кадр, и снова усадил. Отойдя на два шага, взглянул, оценил и лишь тогда успокоился.

— Ну что ж, для знакомства вот вам несколько проверочных заданий. Для начала поплачьте немного.

Тот придал лицу блаженно-бессмысленное выражение, сморщился, часто-часто заморгал. А затем словно надавил невидимую грушу пульверизатора, насаженного на флакон с солевой влагой, и из глаз у него прерывистыми струйками брызнули слезы.

— Очень хорошо... — с веселостью одобрил Самсон Багратович, — а теперь высморкайтесь в платок, но так, чтобы было слышно на улице.

Тот достал платок и трубно высморкался — аж задрожали стекла и на столе сам включился вентилятор.

Самсон Багратович еще больше повеселел и даже рассмеялся, приоткрыв малиновой ладонью свой маленький детский рот с золотыми коронками на каждом третьем зубе.

— А теперь побоксируйте с невидимым противником, — сказал он, неожиданно став грустным.

Кандидат от партии Быкова достал из чемодана боксерские перчатки, натянул их и стал наносить удары по тому месту, где за стенкой сидел его соперник.

— Достаточно, — остановил его директор и сам снял с него перчатки. — Теперь задание потруднее. Изобразите, если можно... горящий торфяник.

И тут случилось чудо: испытуемый взвился, истончился, закрутился, после чего приник к самому полу и стал расстилаться дымом по кабинету.

— Замечательно! Превосходно! Не зря вас рекомендовали... — Самсон Багратович даже открыл форточку, чтобы выветрился воображаемый дым. — Ну и напоследок... посмейтесь. Да, посмейтесь — и надо мной, и над самим собой, и над нашей похожей на цирк балаганной, клоунской жизнью.

— Простите?.. — Тот словно чего-то не понял, даже несколько растерялся (оторопел).

— Я говорю, посмейтесь, посмейтесь... ну что же вы?

— Я бы хотел уточнить, какой вид смеха вы предпочитаете.

— А вы всеми видами владеете?

— Всеми — от иронической улыбки, смешков и хихиканий до гомерического хохота. Это мой конек.

— В таком случае седлайте вашего конька и... а впрочем, не надо. Иронической улыбки для нашей жизни мало, а гомерического смеха мы не заслужили. Поздравляю. Вы выдержали испытание. Ждем вас в начале осени. Да, чуть не забыл. Ваше имя?.. — Директор выбрал в стаканчике надежную, много раз проверенную ручку, чтобы записать.

— Филимонов Сергей Альбертович, — с достоинством представился тот.

— Так и запишем, — сказал директор, но тут надежная ручка неожиданно подвела: ее хватило лишь для того, чтобы написать: Фил, а дальше она иссякла. — Что за чертовщина! — Он с досадой исчеркал весь лист. — Ведь только что писала! Ладно, я запомню: Филимонов Сергей Арнольдович.

— Альбертович, — поправил тот.

— Да, да, извините.

VI.

После этого был вызван тот, что от Акима Бани, весь зауженный, ввинченный, вобранный в самого себя, с бухгалтерскими заплатами на рукавах пиджака, потертым баулом и зонтиком. Самсон Багратович усадил его в то же кресло с овальной спинкой. Усадил и остался доволен, уже не просил привстать, словно тот сразу попал в кадр.

— Вас я попрошу разыграть сценку, простенькую, даже банальную. Но уж, пожалуйста, постарайтесь. Итак, вы возвращаетесь раньше обычного домой. Вы неслышно открываете дверь, крадущимся шагом поднимаетесь по лестнице, собираясь извлечь шуточный эффект из своего неожиданного появления — и застаете жену в объятиях некоего лица, вам хорошо знакомого. Иными словами, любовника. С помутившимся сознанием, вне себя от ярости и негодования, охваченные желанием отомстить, вы убиваете их обоих. — Директор приготовился к тому, чтобы насладиться эффектным кадром.

— Прикажете застрелить, взорвать, задушить, зарезать?

— Ну а четвертовать сможете? — проникновенно спросил директор.

— Легко, — ответил тот.

— Тогда четвертуйте, четвертуйте!

Когда сценка была с блеском разыграна, Самсон Багратович даже не стал давать другие задания, а сразу пожелал узнать:

— Ваше имя и отчество, пожалуйста.

Тот назвался:

— Илья Борисович Горифоб.

— О, какая красивая и редкая фамилия! Впервые такую слышу...

Не доверяя ненадежной ручке, директор поискал в стаканчике другую, но поскольку более надежной там не нашлось, нехотя взял уже опробованную. Несколько раз царапнул ею по бумаге, но безрезультатно, и лишь на окончании названной фамилии ручка вдруг стала писать.

Получилось: *Фоб*.

VII.

С началом сентября, золотых прохладных дней, когда облачное небо сияло голубыми оконцами, повсюду плавали паутинки, носимые ветром, и на дорожках городского парка горчично желтела каша опавших и раздавленных желудей, обоих клоунов приняли в труппу. И тем самым не только признали достойными, но и уравнили их положе-

ние. Получалось, что оба подходят, оба хороши! Хороши вне всякой зависимости от того, кто за ними угадывается, маячит — Рома или Аким.

Словом, уравниали, не посчитавшись с амбициями и жадной первенства, обуревавшей каждого. Иначе — без жажды-то — какой же он кандидат, если его можно впрячь в одну телегу с другим.

Ведь было понятно, что каждому хотелось обойти другого, вырваться хоть на полкорпуса вперед, оказаться единственным и неповторимым. Но не вышло. Пришлось смириться и... зайти в расчете на то, что со временем все-таки удастся обогнать (или обогнуть) соперника и возторжествовать над ним.

Впрочем, и эти надежды были сразу отсечены, поскольку клоунам пришлось выступать не по отдельности, а дуэтом, в паре. Тут уж не восторжествуешь: ради собственного успеха придется поработать — поусердствовать — и на успех соперника.

Директор подписал приказ, принятых клоунов провели по всем ведомостям, положили им оклад, не ахти какой, но Рома и Аким обещали доплачивать, и принятые были довольны. Они стали усердно готовиться к выступлениям, перетряхивать свой реквизит, выбирать из него то, что не так уж безнадёжно устарело, могло пригодиться.

Вместе с режиссером Митричем (Дмитрием Аскольдовичем), носившим лакированные ботинки на высоких каблуках, накладные волосы и подбивавшим плечи крапчатого пиджака ватой, набрасывали мизансцены, придумывали реплики и трюки.

И получалось смешно до чертиков.

По подсказке директора кое-что взяли от дяди Миши, слегка переиначили, повернули по-своему, и осталось лишь найти имена, артистические псевдонимы, под которыми клоуны будут выступать на арене. И тут немного застопорилось, подзастряло, забуксовало...

То, что они предлагали сами, больше походило на тюремные кликухи, чем на цирковые имена, и явно отдавало Бутыркой или Крестами: Буза и Малава. Нет, никуда не годится — на арене насаждать блатняк мы не будем: его и так хватает. Самсон Багратович кликухи забраковал (да и Митрич как-то мялся, особо не настаивал). Не нравились директору также Сержик и Андрик, придуманные воздушной гимнасткой Люсей Савиной: как-то жеманно, сплюнъяво, по-детски, не для большого цирка.

Словом, суюсь-масю.

Кого-то осенило: переодеть одного из клоунов женщиной, подыскать для него в костюмерной парик, набить ваты сзади и спереди и назвать Глафи-

рой, другого же — Федором. Вот, мол, семейная пара. Публика смехом изойдет, обхохочется.

Но директор отверг, заранее обзвав такой смех гомерическим и сославшись на то, что этак и до однополых браков можно докатиться. Да и Митрич в упомянутой по случаю вате обнаружил иголку, шпильку, усмотрел намек на свои подбитые плечи...

В цирке приуныли: до открытия сезона неделя, пора афиши расклеивать, а имена не найдены. И тут директору вспомнилась та чертовщина, которую совсем недавно, при знакомстве с клоунами, выделявало его пересохшее перо, и Самсон Багратович просиял. Просиял и воскликнул со счастливым рыданием в голосе:

— Да вот же, вот же! Как же это я сразу-то!..

— Что? Что? — стали спрашивать его.

— Придумал! Нашел! Фил и Фоб! Так и назовем их!

Всем стало ясно, что директор попал в яблочко, лучше не придумать, и на афише появились эти имена.

Четырнадцатого сентября давали первое представление, затем второе, третье, и сезон открылся. Директор потирал руки: в кассах аншлаги и полные сборы. Вернулись благословенные времена. Публика валом валяла, чтобы снова увидеть хорошо знакомых дрессированных зайцев и слонов, воздушных гимнастов, фокусников и при этом посмотреть на новых клоунов.

И молодцы не подкачали, не подвели, не оскрамлились. Бегали по всей арене в клетчатых штанах, огромных ботинках, с бантами на шее. Пинали, щипали, колотили друг друга пустыми — стокилограммовыми — гирями. Распиливали (четвертовали) в фанерном ящике пойманного любовника. Боксировали в перчатках, пускали фонтаны слез, оглушительно смеялись и изображали горящие торфяники (по следам минувшего лета).

Публика ждала разоблачений и критики — подпускали и критику. Олигархов, правда, остерегались, не трогали, не задевали, но доставалось городским властям — за всяческие проволочки, простои и перебои. Словом, все как при дяде Мише: он бы похвалил и одобрил. Не зря долговязый Кадик, сидевший в первом ряду, оглушительно громко аплодировал и бросал на арену сорванные перед зданием управы флоксы и георгины.

VIII.

Поначалу оба клоуна нравились всем одинаково, и публика никому не отдавала предпочтения.

При всей любви к клоунам и вызываемом ими ажиотаже на первых представлениях многие даже путали, кто из них Фил, а кто Фоб. Да и не придавали этому значения, поскольку имена на афише казались настолько похожими (оба на «ф»), что зрители часто звали клоунов по-своему, присваивали им собственные клички и прозвища: Распахнутый и Запахнутый, Печенкин и Селезенкин, и проч., проч.

Однажды с дальних рядов под трехпалый свист даже донеслось: «Эй, Буза, пакуй Малавю!» Самсон Багратович, когда ему рассказали, только недоумевал, кому такое могло взбрести на ум (уж не бывшим ли дружкам Фила и Фоба?). Присутствовавшая же на представлении публика возмутилась, вознегодовала, зашикала: это было сочтено хулиганством, и дежурившая в цирке милиция вывела горлопанов из зала.

Так продолжалось примерно месяц-полтора. Но постепенно клоунов научились различать, чему они сами способствовали тем, что стали использовать в своих костюмах разные преобладающие цвета: Фил — от голубого до лилового и фиолетового, а Фоб — все оттенки красного, включая багровый. Соответственно и публика разделилась, но не на поклонников Фила и поклонников Фоба, а на тех, кто любил лиловый и фиолетовый, и тех, кому больше потрафлял красный.

Вот и все — никаких восторженных поклонников (фанатов) того или иного клоуна и тем более партий в полном смысле слова еще не было. Поклонники и партии появились потом, а именно с той поры, когда лиловые стали утверждать, что их любимец Фил во всех отношениях лучше его напарника Фоба. Ну что там Фоб! Он лишь, что называется, ловит и подает мячи, вылетевшие за штрафную (метафора навеяна футбольным прошлым нашего города), ассистирует, подставляет голову под удары резиновой гирей, а настоящая клоунада — это, несомненно, Фил.

Соответственно и багровые настоящим клоуном считали Фоба, Фила же — так, на второстепенной роли мальчика, подающего мячи, которые Фоб закручивает и посылает в ворота.

В подтверждение своих слов партия Фила (вот вам уже и партия) доказывала, что тот лучше ходит на ходулях, мяучит, изображая мартовского кота, жонглирует кольцами и мячами и шутки у него смешнее. Иными словами, все мизансцены держатся на нем. Кроме того, он часто встречается зрителям у вешалки, фотографируется с ними, подобно дяде Мише достает из глубокого карма-



на и дарит детям конфеты, а после представления катает их на пони и даже помогает забраться на слона.

Партия Фоба не отставала и приписывала своему любимцу не менее яркие достоинства: умение кувыркаться через голову, ставить подножки, бросать стрелы с присосками и стрелять из водяного пистолета так, что конферансье (условно назовем его так) приходится вымокшим до нитки убежать со сцены.

Правда, дети побаивались Фоба, поскольку во время выступлений он часто пугал их, показывая им козу рогатую, зловеще выкатывал глаза и строил ужасные рожи. Но детские страхи — те же восторги, и кто из взрослых не помнит, как в детстве сам просил, чтобы его поугали...

В дирекции, конечно, заметили разделение в публике, но приняли это как должное и посчитали естественным. Что ж, пускай: в этом есть какая-то интрига. Во всяком случае, это лучше, чем подсаживать своих и выдавать их за зрителей, которых публика сразу разоблачает (казачок-то засланный) и теряет к ним всякий интерес.

IX.

В начале зимы, когда стало раньше темнеть и позже рассветать (иногда казалось, что и не рассветет вовсе), дороги покрылись волнистой наледью, которая быстро таяла и растекалась лужами, отражавшими низкое, оловянного цвета небо, и повалил снег с дождем, режиссеру Митричу пришла на ум судьбоносная идея.

Вернее, было так.

Митрича пригласил к себе долговязый Кадик, и пригласил не просто от скуки, а по случаю юбилея: ему исполнилось пятьдесят, причем тридцать из них, как он считал, были отданы цирку.

Кадик хотел отметить эту дату, что называется, официально, с некоторой помпой (он даже мечтал, чтобы его наградили, медальку на грудь повесили). Поэтому Кадик усиленно зазывал к себе и других: царственных особ — директора и главбуха, господ укротителей, фокусников, воздушных гимнастов, но те под благовидными (по словам Кадика, благовонными) предложениями отказались. Отказались и снарядили вместо себя Митрича, тоже

особу царственную, но помельче, годную на то, чтобы исполнять посольские поручения.

Правда, Митрич от таких поручений всячески отбрыкивался и возмущался, что его вечно запрягают, но на этот раз ему было не отвертеться, поскольку к нему подобрали верный ключик. Конечно, в цирке все честолобивы, но Митрича отличало (обуревало) чудовищное тщеславие, которое он даже не пытался скрывать, а всегда выставлял напоказ, словно ботинки на высоких каблуках, накладные волосы и подбитые ватой плечи. Воспользовавшись этим, ему внушили, что его никто не запрягает (вот уж чего нет, того нет), что павший на него выбор трупы — знак особого уважения, признания заслуг и проч., проч.

Как тут было не согласиться!

И вот они с Кадиком устроились у него в камерке, обклеенной старыми афишами и использованными (гашеными) контрамарками. Достали, открыли, разлили по граненым стаканчикам, которые подрагивали и позванивали от гремевшего за стенкой лифта, и стали праздновать вдвоем. Конечно, разговорились (под водочку-то как не разговориться). И, конечно, о цирке, о фокусниках, о клоунах. Кадик, желая показать себя знатоком эксцентрики и клоунады и при этом — патриотом родного цирка, возьми и скажи:

— Согласись, Митрич, что наши тутошние клоуны — это не какие-то тамошние Чарли Чаплин, Пат и Паташон, Карандаш или Олег Попов.

Он поднял стаканчик, подождал, когда за стенкой прогремит лифт, и чокнулся с режиссером. Чокнулся, стараясь не расплескать ни капли и тем самым поощряя Митрича к тому, чтобы согласиться со сказанным.

Но Митрич соглашаться никогда не спешил, предпочитая, чтобы с ним соглашались.

— Ну, положим, Чарли Чаплин не клоун, — на всякий случай возразил он, еще не зная, куда тот клонит.

— Все равно, — разгорячился Кадик, стараясь успеть опрокинуть стаканчик, пока снова не загремит лифт. — Нашим он не соперник. Да и остальные тоже. У наших клоунов даже имена особенные, с глубоким смыслом.

— Какой же в них смысл? — спросил Митрич, с сожалением глядя на опустевший стаканчик Кадика и усматривая именно в нем причину его кажущегося глубокомыслия.

— Трансцендентный. Потусторонний. Мистический.

«Этак еще глоток — и, пожалуй, пойдет ко дну, — подумал Митрич с тем опасением, кото-

рое всегда вызывают пьяные у трезвых. — Что тогда с ним делать?»

Но Кадик исправно держался на плаву.

— А вот ты смотри, — сказал он, снова наливая, отмечая ногтем уровень оставшегося в бутылке и тем самым подводя Митрича к своей главной мысли. — Филия — это любовь, приязнь, дружеское расположение. Фобия — страх, неприязнь и ненависть. Отсюда Фил и Фоб. Не оттого, что фамилии... С фамилиями-то было бы слишком просто. Улавливаешь, куда я клоню? Эти два начала есть во всем. На них весь мир держится. А ты — Чарли Чаплин...

— Постой, постой. — Митрич вдруг почувствовал, что у него рождается идея, почувствовал, как беременная женщина, приближение родов. — А что если мы это зложим в образ?.. В образ, дурья башка! Получится грандиозно!

— Не знаю, куда вы это зложите, — Кадика несколько задело и обидело, что его после такого откровения назвали дурьей башкой, — но рванет не хуже динамита.

Он спрятал подбородок в ворот дырявого свитера, нахохлился, засопел и заснул. Кадик поцеловал его в темя и, крадучись, на цыпочках вышел.

Х.

На следующий день Митрич уже стучался с новорожденной идеей в дверь директорского кабинета (секретарша была на больничном). Вернее, стучался рядом с дверью, поскольку сама дверь была обита мягкой кожей, поглощавшей резкие звуки, и Митричу пришлось выискать местечко между дверью и висевшей на стене картиной, чтобы именно постучать, а не потукать костяшками пальцев в мягкую обивку.

Для него это было особенно важно — постучать. Для этого он даже поправил на себе пиджак с подбитыми ватой плечами, пригладил накладные волосы и шаркнул ногой, чтобы избавиться от бумажки, прилипшей к высокому каблуку ботинка.

После этого постучал трижды и еще один раз (главная тема Пятой симфонии), словно он вестник судьбы, посланник рока, а не секретарша с чаем на подносе и не бухгалтер с отчетными ведомостями в портфеле.

— Кто там? — спросил директор, который охотно выпил бы чаю и при этом не испытывал ни малейшего желания беседовать с посланцем

рока. Но, увы, чай заварить было некому, и поэтому директор смирился с роковой неизбежностью: — Войдите.

Митрич не вошел, а, изогнувшись, проскользнул, втерся в дверь, крадущимся балетным шагом протанцевал по ковровой дорожке и предстал перед директором.

— Позвольте сразу самую суть.

— Садись, садись. Позволяю. Ну и в чем же она, твоя суть?

— В именах.

— Каких именах? Наших с тобой?

— Не угадали. В именах, которые вы придумали для клоунов. Помните?

— Да я особо не думал. Так... само пришло в голову.

— Все великое таким макаром и возникает. Само приходит, словно бы внушенное кем-то свыше.

Директору понравилась ненавязчивая и хорошо замаскированная лесть.

— Что ж, в цирке любой административный работник должен уметь творчески мыслить. Это наш долг. — Скромно потупившись, он стал рассматривать пальцы со следами от драгоценных перстней, своей былой, утраченной гордости.

Но Митрич не стал бы попусту льстить: у него была цель, и он знал, как ее достигнуть.

— Да вы хоть сами-то осознаете, какие открываются безграничные возможности и перспективы? Сама судьба на нас благосклонно взглянула. На нас посыплется как из рога изобилия. Гастроли в Москве, международное признание, победы на конкурсах и фестивалях, звания лауреатов, премии, призы!

— Ты, часом, не перебрал ли вчера с Кадиком? — Директор грустно взглянул на Митрича, то ли осуждая его за перебор, то ли ему втайне завидуя.

— Обижаете, Самсон Багратович. Недооцениваете. Фил — это филия, любовь. Соответственно Фоб — это ненависть. Мы закладываем в образ эти два начала. Пусть наш Фил будет восторженным, миленьким, готовым всех обнять и расцеловать. Пусть он всем восхищается, всех любит, ведет себя как верный слуга отечества, как истинный патриот...

— Так, так, так... — подхватил директор, уже отчасти угадывая направление поисков главного режиссера.

Тот между тем продолжал:

— Фоб же, напротив, всех ненавидит, хулит, срамит, оправдывает любые пороки, огульно отрицает добродетели, глумится над святынями,

критикует власть, оскорбляет самые возвышенные чувства гражданственности и патриотизма.

— Политику, может, не трогать? — с сомнением спросил Самсон Багратович, глядя куда-то в сторону.

— Как же без политики! Без политики нас никто не услышит, мы никому не интересны.

— А с политикой нас прихлопнут. Придавят, как клопов.

— Не прихлопнут. Мы осторожненько, намеком, завуалированно. А чуть что: так ведь это же клоуны, это все шуточки, приколы, не всерьез.

— Ну хорошо, держай, — сказал Самсон Багратович, по-прежнему не поворачиваясь к Митричу. — Я еще кое с кем посоветуюсь из ответственных товарищей, из первых лиц, из тех, кто заказывает музыку, но, думаю, возражений не будет.

XI.

После ухода Митрича Самсон Багратович открыл настежь форточку, чтобы слегка пробрало фиолетовым утренним морозцем и выветрился запах скверного, дешевого одеколona, которым Митрич себя неумеренно спрыскивал. Затем он выдвинул ящик письменного стола, открыл заветную шкатулку, достал спрятанные туда драгоценные перстни и снова надел их на пальцы. Простенькие часы брезгливо стряхнул с правой руки (ремешок туго не затягивал) и заменил на дорогие, фирменные, с золотом и камнями.

И лишь придав себе соответствующий его положению вид (положению обманутого мужа, ха-ха, но это в протокол не вносить), счел своим долгом сейчас же доложить. Поставить в известность. Испросить высочайшего (аж самому противно) соизволения.

И, пока набирал номер американского президента (Ромы Быкова) и цапался с его верной ратью, допытывавшейся, кто он, откуда и по какому делу, все думал, как бы ему в предстоящем разговоре (докладе) не перемудрить. Не выставить себя таким умником, жонглирующим словами. И уж тем более не обозначить ненароком своего превосходства, своей причастности к высшим сферам искусства (олигархов это всегда раздражает), а просто и доходчиво рассказать о замысле режиссера, о его последней находке.

Но, к удивлению директора, Рома сразу во все проник, все понял, схватил самую суть и одобрил:

— Вот-вот... это нам и надо. Только пусть побольше друг друга дубасят. Я это страсть как

люблю. Захожусь до судорог. Может, их еще одеть в камуфляж и каждому повесить на шею калаш? Я все оплачу.

Самсон Багратович не расслышал и переспросил:

— Калач?

— Какой калач? — в свою очередь удивился Рома.

— Ну, на шею-то...

Рома от души рассмеялся.

— Да не калач, а калаш, автомат Калашникова.

Из калача-то особо не выстрелишь.

— А что, и стрелять придется? — Самсон Багратович будто не верил, что придется стрелять, и по наивности удивлялся.

— Так война же... Помнишь, мы говорили?

— Из-за клоунов?

— Так из-за них все войны...

— Не перебор ли?

— Да, да, — развеселился Рома. — Если двадцать один — очко, то больше уже перебор. На нарах-то самая игра... Не сидел на нарах?

— Не довелось.

— Ну, еще посидишь. — Теперь Рома будто не верил и удивлялся.

И пообещал подарить Митричу породистого щенка и поставить три бутылки лучшего армянского коньяка за такую находку.

Самсон Багратович позвонил и госсекретарю Белого дома (Акиму Бане) — с тем же докладом, но тот долго не мог ничего понять, уяснить, взять в толк. Мычал, бурчал, мямлил что-то невразумительное и в конце концов сказал:

— Решайте сами. Надоели вы мне. Я в вашу кухню не вмешиваюсь. Передай жене, что завтра не состоится.

— Что не состоится?

— Консультация по закупкам. Она знает.

— Что знает? — Самсон Багратович как-то не очень понимал, о чем ему толкуют.

Аким Баня непонятливых не любил.

— Знает, что ты скоро помрешь, копыта отбросишь, если ее в гроб не загонишь. Шучу, шучу.

— Ну и шуточки у вас... — Самсон Багратович явно пожалел, что нельзя шмякнуть трубкой того, чей голос она доносит, но все же заставил себя спросить: — Есть какие-то пожелания режиссеру, советы и напутствия артистам?

— В Греции все есть. Пусть поменьше друг друга дубасят. А то смотреть бывает тошно на этот мордобой. Все-таки мы на гражданке, цивилизные люди. Как говорится, *make love not war*.

— Вы оплатите, хотя бы частично, новый замысел? Мы сочтемся, когда сил поднакопим...

— Сам плати. Ты и так богаче меня.

— Снова шутите?

— Все мы дошутимся до того, что наконец умрем, Багратыч, и в землю ляжем. А туда ведь деньги не переведешь. Поэтому какие уж там шуточки...

«Ляжем-то ляжем. Только ты, пожалуй, раньше меня», — подумал директор, но промолчал, словно возражать Акиму пока (до поры до времени) не входило в его планы.

ХП.

К середине зимы, когда февральские вьюги наметали сугробы по самые крыши домиков, залепляли мокрым снегом вечерние фонари, когда днем припекало, а вечером подмораживало (сокульки доставали до земли), начались репетиции. Митрич стал закладывать новое содержание в обrazy Фила и Фоба.

Он убрал часть реквизита, полностью устранил все претензии на акробатику и эквилибристику, сократил многие мизансцены и реплики, а оставшиеся призвал уподобить... чему-нибудь этакому, да вот хотя бы (всем внимание! Тишина! У режиссера рождается *оно!*)... устрицам во льду.

Устрицам? Почему же устрицам? Никто толком не понял, но всем это ужасно понравилось. И хотя устриц в нашем городе не только не пробовали, но и отродясь не видывали, все хором подхватили: «Устрицы! Устрицы!» — и ни о чем другом не хотели слушать.

Клоуны на репетициях старались как могли, наизнанку выворачивались, но у них не все получалось. Вернее, сначала получались... гм... кислые щи, гречневая каша-размазня, простокваша — что угодно, но не устрицы. Вот и решили Фила и Фоба пока на арену не выпускать, считая, что нельзя показывать зрителю грубые заготовки, недопеченный полуфабрикат, сырой материал.

Поэтому администратору манежа (конферансье, но на самом деле не конферансье) поручили объявить, что Фил и Фоб заболели ангиной и слегли. Но поскольку (тут он ввернул фразочку) у каждого из них железный организм и чудовищная воля, надеются вскоре выздороветь и вернуться на арену.

Публика, услышав это, вяло зааплодировала — раздалось два-три хлопка. Все, конечно, приуныли, но деваться было некуда — только набраться терпения и ждать, тем более что в дирекции рискнули несколько раз выпустить на арену стратотерпца (медаль он так и не получил) Кадика.

Тот обид не помнил, исправно комиковал, показывал всякие трюки: уморительно бегал с ночным горшком, прилипшим к заднице, сдирал с лица нарисованные очки, поочередно перевоплощался то в мигающий телевизор, то в бубнящее день и ночь напролет радио и изображал гремящий за стенкой лифт.

Его, слава богу, терпели, не освистывали, а Митрич тем временем вовсю старался — ради будущей славы, призов и наград, и его тщеславие, по словам завистников и врагов (а в цирке их у каждого достаточно), распушалось, как роза на помойке. Самсон Багратович же о славе не помышлял, скромно присутствовал на репетициях и лишь при крайней надобности Митрича слегка одергивал и поправлял (чтоб не зарывался).

С Фобом у них сразу получилось — даже не понадобилось вешать ему на шею калаш. Тот и без калаша мгновенно все схватывал, как бульдог брошенный мячик, и держал в зубах — не отнимешь и не вырвешь. Он не только ненавидел, оскорблял и глумился, но и умел тонко поддеть и одним намеком уничтожить любого несогласного с ним. Кроме того, Митрич к тому же разрешил ему (и даже поощрял к этому) врать, наговаривать, чернить, порочить, злословить — словом, вбрасывать нужную дезу, и от этого дело зашло.

А вот с Филом (размазня и простокваша!) что-то не ладилось. Тот никак не мог понять, как это — всех любить, умиляться, восторгаться — хоть калач ему на шею вешай, да и калачом не проймешь.

Самсон Багратович, отведя его в сторонку, успокаивал, вразумлял, проводил с ним воспитательную (душещипательную) беседу:

- Кого ты в детстве любил? Мать любил?
- Нет, она напивалась и меня била.
- А отца?
- Отца я никогда не видел.
- Сестру любил?
- Сестра меня заставляла по вагонам просить, а всю выручку отнимала.
- Девочку из соседнего подъезда?
- Ну, девочку! За ее папой присылали служебную машину, а ее одну гулять не выпускали.
- Кого-нибудь же любил!
- Кошку любил. Рыжую, с оторванным ухом. А ее на дереве повесили.
- Вот и представь себе, что твоя кошка осталась жива, девочка из соседнего подъезда с тобой дружит, сестра тебя любит, отец нашелся и мать бросила пить. Вот и ты их всех люби. Понял?
- Теперь понял.

После нескольких подобных бесед Фил научился любить, а может, и не научился, а умел изображать, будто любит, и очень похоже — аж слеза прошибала.

Митрич возликовал, но тут жена Самсона Багратовича, бывшая примадонна, выступавшая под псевдонимом Роза Фиалкина, чуть было все не смазала, не скомкала и не испортила. Словом, устроила скандал, как это ей свойственно. Неожиданно появившись на репетиции... Да что там появившись — ворвавшись на арену, стремительная, сияющая, обольстительная, как амазонка, в высоких сапогах, собольем манто поверх платья с блестками — она презрительно рассмеялась при виде клоунов с размалеванными лицами и воскликнула:

— Без меня ничего у вас не получится. И не мечтайте. А я еще клакеров найму, чтобы вас обшикали и освистали.

И, ловко подпрыгнув, схватилась за трапецию и стала раскачиваться над ареной (бывшая воздушная гимнастка), посылая Самсону Багратовичу и Митричу воздушные поцелуи.

ХIII.

Тем не менее все получилось.

Когда номер был полностью готов, отшлифован и обкатан перед своими (поочередно приглашали всех — от укротителей и жонглеров до старых, с благородной проседью и галунами на брюках гардеробщиков), Фила и Фоба наконец выпустили. Выпустили на арену смешить зрителей. Самсон Багратович их перед выходом даже перекрестил, а Филу шепнул на ухо: «Помни про свою кошку».

Митрич, случайно подслушав, долго ломал голову, что это еще за кошка (спросить, конечно, считал ниже своего достоинства). В конце концов решил, что кошка — это нечто вроде устриц во льду, и успокоился.

И вот администратор в микрофон объявил: «А сейчас перед вами выступят неподражаемые Фил и Фоб». Выход! Истомившаяся от долгого ожидания публика устроила своим любимцам громокипящую овацию, а Кадик, стараясь не завидовать и не поддаваться дешевой ревности, послал им воздушные поцелуи и бросил под ноги три тепличных тюльпана и две гвоздики.

Все ждали повторения прежних трюков, да что там трюков — готовы были смеяться до упаду, если бы им просто показали палец. Но их ждало нечто совсем другое, отчего многие завсегдаги

цирка (хотя до них и долетали всякие слухи) расте-
рялись, не готовые к тому, что любимые образы
наполнятся новым содержанием.

Никто не смеялся — возникла напряженная,
звонящая (отчасти зловещая) тишина, какая быва-
ет в горах перед сходом лавины. И вот зашуршали
по горному склону первые камушки, словно из-
под копыта оступившегося скакуна, а затем и вся
лалина с грохотом устремилась вниз, поднимая
тучи щебня и пыли.

Иными словами, публика словно бы очнулась,
размытые контуры предметов в ее глазах снова
обрели устойчивость, и она стала понимать, что
происходит на арене. Ей открылась простая исти-
на: отныне Фил — тот, кто всех любит, готов
обнять и расцеловать, а Фоб — тот, кто нена-
видит. Клоуны своими гримасами, всяческими
ужимками, неестественными, сдавленными до
кошачьего фальцета голосами пытались вну-
шить публике, как это смешно — одному лю-
бить, все принимать, другому же — ненавидеть
и отвергать, но вопреки их стараниям это каза-
лось чем-то странным, даже жутковатым. Хотя
все и смеялись (клоуны есть клоуны), но как-то
робко, опасливо, боязливо — так, словно это
было всерьез.

Фил и Фоб не рассчитывали на такой эффект,
но их новые амплуа произвели на всех ошелом-
ляющее впечатление. Их прежних поклонни-
ков — прежних партий — не стало, но зато на
первом же представлении образовались новые
партии из числа тех, кто сами были готовы лю-
бить или ненавидеть.

Оказывалось, что каждый из зрителей в душе
был закоренелым, неисправимым филлом или
фобом. В каждом — не только взрослом, но и
ребенке — была заложена непреодолимая по-
требность — любить или ненавидеть: хоть хле-
бом не корми, а вот дай. Но эта потребность
дремала, томилась в несбыточных грезах, слов-
но сомнамбула, поскольку некому было ее раз-
будить (а может, и незачем, иначе бы все раз-
буженные стали бы буддами или на худой конец
олигархами).

Жизнь нашего провинциального города для
побудки не годилась, поскольку была плохонь-
кой, серенькой, никудышной. Все доступные
нам средства (висевшие в здешнем музее кар-
тины, пылившиеся на полках библиотек книги)
оказывались для этого неспособными, недо-
статочными. И вот по некоему мистическому
вмешательству, прихоти, совпадению эту по-
требность пробудили — сняли с нее колдовские
оковы — именно клоуны.

Ах, что тут началось! Всех охватило безумие,
сумасшествие, умопомрачение, единственное в
своем роде: второго такого не помнят даже ста-
рожили. По их словам, всякое, конечно, бывало
(соль и спички скупали, пшено и гречку с прилав-
ков сметали), но чтобы из-за клоунов с размале-
ванными рожками, фигляров, лицедеев такая вак-
ханалия... нет, не упомянуть.

Впрочем, горький опыт подсказывает: люди в
простоте своей таковы, что им можно внушить что
угодно — нашлись бы желающие внушать...

Весь наш город повалил в цирк — даже те,
кто там отродясь не бывал. Глядь, какой-ни-
будь сноб, уверявший, что терпеть не может эту
бульварную пошлость, этот балаган, а уж тут как
тут — высматривает, выныривает, шныряет в по-
исках билетика. А билетиков-то и нет: в кассе за
ними длинная очередь, с ночи записываются, но-
мера на ладони синим карандашом выводят. По
утрам же кассирша выбросит, словно собакам
кость, десяток билетов, и окошко захлопнулось,
поскольку все у перекупщиков (они с кассиршей,
понятно, в доле) и приходится платить втридо-
рога.

Но что поделаешь — охота пуще неволи, и
все платят. Древние старухи, еле передвигающие
ноги, полпенсии отдают за место в пятом ряду.
Видите ли, возымели желание приобщиться, ис-
пытать на себе, что это такое — цирк. Испытать и,
конечно, примкнуть — либо к филлам, либо к фо-
бам, за это же и целой пенсии не жалко.

Тут следует заметить, что то ли из-за зимы, ме-
телей и вьюг, то ли по другим неведомым (может
быть, даже мистическим) причинам, но фобов на-
считывалось гораздо больше, эдак примерно две
трети. Поэтому филлам пришлось выкручиваться,
чтобы чем-то уравновесить численный перевес
своих противников. И они решили прежде всего
умножить свой боевой арсенал, применить новое
оружие против фобов. Их не смущало, что при
этом они жертвовали чистотой идеи. И они не по-
гнушались тем, что оружие-то было из арсенала
фобов и поэтому никак не могло соответствовать
провозглашенным филлами возвышенным и гуман-
ным принципам.

Иными словами, несколько раз уличив против-
ников во лжи, филлы тоже стали подвирать, пускать
в ход свою дезу, огульно хвалить и славить своих
единомышленников, свою партию, а заодно и са-
мих себя. Получалось: все, что они любили, — са-
мое лучшее, лишненное недостатков, недостижае-
мое для критики.

Этого не могли стерпеть фобы. Они так усердствовали в огульном очернении филов, что те, любящие всех, для них сделали исключение, выбросив лозунг (слоган): врагов нельзя любить и прощать, а можно лишь ненавидеть и уничтожать. Признаться, это была настолько ошибочная и недальновидная тактика, что фобы готовы были их возлюбить, обнять и расцеловать за подобную глупость.

XV.

Обстановка в городе стала накаляться, и начались откровенные безобразия, чего раньше никогда не было. Раньше-то у нас жили хотя и скучно (по распространенному выражению, дремно), но тихо и мирно. Если на улице встречались с соседями, то лишь для того, чтобы учтиво поклониться, приподнять над головой картуз, словом перемолвиться (о погоде, о тихих радостях рыбалки), а тут...

Между филами и фобами то и дело вспыхивали словесные перепалки, и заканчивались они безобразными сварами, драками и уличными потасовками.

Первыми подрались грузчик из мебельного магазина по прозвищу Сервантес, рыхлый толстяк, носивший комбинезон с большими карманами, берет и недовязанный свитер, и аптекарь Свирский, в полупенсне на ястребином носу, с бороденкой и расчесанными мокрой расческой висками. Драка произошла в аптеке у Свирского — на Ивановской улице (бывшая Розы Люксембург). Сервантес, выступавший за филов, имел неосторожность с одобрением отозваться о снабжении лекарствами, богатом ассортименте на прилавке и прочих признаках изобилия и процветания. Казалось бы, это должно было потрафить Свирскому, но тому не понравилось, что хвалят его аптеку, он усмотрел в этом угодничество перед властью, что у фобов считалось тягчайшим преступлением. Свирский встал в позу, ответил резко и язвительно, накинулся с бранью, отказался продать лекарство, и завязалась драка.

Сервантес сгреб аптекаря за грудки, а Свирский стал ему рвать ноздрю и тыкать острым кулачком в скулу. Посетители бросились их разнимать, но тоже ввязались в драку, поскольку среди них, конечно же, нашлись и филы, и фобы. Тут уж пошло, как говорится, на всю Ивановскую. В драке были обрушены шкафы с лекарствами, опрокинуты столы, побиты стекла, но аптекарь не жалел об убытках, поскольку успел первым назвать Сервантеса зачинщиком, себя же — признанным

победителем, что и попросил внести в протокол участкового милиционера.

Затем в городской пивной подвыпившие фобы напали на инженера Щербатого, активиста движения филов, но к инженеру подоспело подкрепление, и фобы были наголову разбиты и доставлены в участок. В бане подрались женщины — Варвара Жеглая и Анна Чалая, — разумеется, на идейной почве. Размахивая березовыми вениками, они плескали друг на дружку кипятком и пытались попасть в глаза мыльной пеной.

Тогда же в мужском отделении завязалась драка между Жорой Чайкиным и Арчилом Георгадзе, которые давно враждовали. Жорка постоянно под разными предлогами нападал на Арчила, валил с ног и садился на него верхом. Это называлось у него *Кавказ подо мною*. Кавказ такого унижения не спускал и брал реванш, подкараулив Жорку в городском саду. Так оно и продолжалось, пока в бане вдруг не выяснилось, что и Жорка, и Арчил оба фобы.

Это заставило их тотчас помириться, а организаторов беспорядков — задуматься о том, чтобы впредь не путать своих и чужих. Не путать даже в бане, что, конечно, усложняло задачу, но вскоре с ней успешно справились. Решили, что филы будут носить на запястьях лиловые ленточки, а фобы — красные, под цвет костюмов клоунов.

Далее от уличных потасовок, стычек в банях и пивных перешли к шествиям и митингам. Случилось это так. Рома Быков скупил рыбный и тракторный заводы, закрыл их под предлогом демонтажа устаревшего оборудования и всех рабочих выгнал на улицу даже без выходного пособия. Вернее, пособие-то он пообещал, но выплачивать не спешил, ссылаясь на то, что заводы убыточные и денег в кассе нет. Филы, конечно, обвинили во всем фобов, но и те в долгу не остались и через местную газету «Факт» потребовали призвать к ответу филов (при этом вылили на них ушат грязи), якобы приложивших руку к закрытию. Те же в знак протеста устроили шествие по всему городу и митинг на Почтовой площади. Рядом же, на Телеграфной, митинговали фобы...

Вот тогда-то занялось вовсю, по-настоящему, с поджогом машин и захватом заложников (в заложниках у фобов оказался бедный Кадик, хотя он никогда не примыкал к филам)...

XVI.

Кто первый стал вооружать своих сторонников — Рома Быков или Аким Баня, — в точности не

известно, хотя мнения на этот счет имеются разные: каждый стремится доказать свое. Но цена этим мнениям — копейка, поскольку их опровергнуть так же легко, как прихлопнуть комара, зудящего над ухом (комаров у нас в начале лета пропасть — тучами летают), или раздавить фиолетового дождевого червя, чья голова высовывается из одной норы, а хвост торчит из другой.

Прежде всего, охрана была у обоих — охрана немалая и, естественно, до зубов вооруженная всем тем, что можно добыть по сходной цене на складах нашей воинской части — вплоть до минометов и гаубиц. Затем оба — и Рома, и Аким, — у себя в ночных клубах ввели такое новшество, как тир, где выдавали винтовки новейшего образца и вместо движущихся жестяных фигурок, по которым стреляют дети и пенсионеры, развешивали на дальней стене подвала настоящие мишени. Там завсегдатаи соревновались в меткости, пока еще оставались трезвыми, хотя некоторые могли и спяну попасть в самое яблочко — восьмерку или даже десятку. Кроме того, наши олигархи устраивали королевские охоты в своих заповедниках и палили так, что отзвуки канонады долетали до самого города и обитателям окраин приходилось затыкать уши, чтобы не лопнули барабанные перепонки.

Все было — кто ж спорит! Но это не проясняет вопроса, как и когда оружие появилось в самом нашем городе. Можно сколько угодно палить по прикормленным кабанам, но это не приблизит нас к пониманию того факта, что за поленицей дров у бабки Матрены оказался целый арсенал и так же, как за самогоном, к ней приходили по ночам за бутылками с зажигательной смесью (зажигают они, правда, иначе, чем самогон), минометами и гранатами.

Многие утверждают, что оружие стали раздавать весной, когда по оврагам, в зарослях черемухи защелкали соловьи, якобы и сраженные первыми — пробными — выстрелами из винтовок (таким образом для упражнений в меткости, помимо мишеней и движущихся фигурок, появилась еще одна цель). Но не очень-то верится, что обитатели нашего города способны на такую жестокость. Гораздо более достоверными кажутся сведения о том, что тогда же весной демонстративно пощелкивал еще один соловей — бывший оперный певец, занимавший у нас должность администратора манежа, Лев Евгеньевич Милонидов. И пощелкивал он затвором своего нового карабина, по его собственным словам, исключительно для острастки, чтобы напугать злоумышленников, уже покушавшихся на его драгоценную

жизнь (пытались плеснуть ему в лицо серной кислотой). Карабин же, по его словам, он купил, как и положено, на рынке, за собственные деньги и этой покупкой, стало быть, никому не обязан.

Таким же карабином, правда, по другой причине, обзавелся большой знаток и поклонник циркового искусства Бенедикт Васильевич Гусаров, но тут причина была иная: у него подрастала — входила в пору — красавица дочь, и он заранее приготовился к тому, что ее захотят похитить, увезти и с ней тайно обвенчаться.

Вот и все сведения, которыми мы располагаем. Конечно же, это жалкие крупички, не позволяющие даже при всем желании установить, кто же первый. Но это, в конце концов, и не так уж важно. Гораздо важнее то, что в конце лета наши олигархи подогнали по джипу с деньгами и пачками раздавали их всем желающим прямо из багажников.

Поэтому к началу осени наш город не только разделился на два враждебных лагеря — армию филов и армию фобов с главнокомандующими, штабами, войсковой разведкой и госпиталями, — но и вооружился, причем не чем попало, а всем необходимым для ведения большой затяжной войны.

То, что осенью война еще не грянула, — чудо. Вернее, постреляли немного из калашей (короткими очередями и одиночными выстрелами) и на всякий случай заключили перемирие. Но наступившее зловещее затишье предсказывало, что вооруженного столкновения не избежать: вот-вот загрохочет артиллерия и двинутся танки. Шествия, митинги, словесные баталии прекратились, ораторы покинули трибуны, и теперь заговорят пушки. И не важно, кто выстрелит первым и кто кого обвинит в нарушении перемирия. Главное, что есть причина воевать, есть клоуны в цирке, а любая война всегда начинается из-за клоунов.

XVII.

— Ну и чем кончилась ваша история? Война-то грянула? Запыхало? Или, наоборот, все успокоилось? — скучающим голосом, прикрывая ладонью рот (якобы для того, чтобы скрыть зевок), спросил пивчатый крепыш.

Ему не нравилось, что гонкуровский лауреат имел явный успех со своим рассказом, и он на самом деле не столько скучал, сколько ревновал, не находя способа вернуть себе всеобщее внимание и особенно расположение дам.

— Да, война началась. Было несколько крупных, ожесточенных сражений, пролились реки крови,

но в результате никто не победил, — ответил гонкуровский лауреат с подчеркнутой любезностью к тому, в ком почувствовал своего недоброжелателя и соперника.

— Это как же так? В таких случаях надо побеждать, поскольку победителей не судят, — с оттенком высокомерия произнес пивчатый, не желая принять предложенный ему любезный и вежливый тон, как шахматист не принимает жертву пешки.

— Возможно, вы и правы. Но, наверное, опыта не хватило. — Гонкуровский лауреат неуловимым оттенком голоса показывал, что собеседник ошибается, считая, будто ему все доступно в его рассказе.

— А может, боевой злости? — Пивчатый сам начинал злиться, хотя и не понимал почему.

— Нет, что вы! — с благодушной презрительностью воскликнул гонкуровский лауреат. — Боевой злости было предостаточно, боевая злость так и кипела, но это никому не помогло. Обе армии оказались измотаны, обескровлены и разбиты. Рома Быков позорно бежал, Аким погиб, застреленный снайпером в своем особняке.

— И это все? — спросила одна из дам, полагавшая, что какой бы ни была концовка, от нее следует требовать большего, как от главного блюда в ресторане.

— А вам мало? Тогда могу добавить, что в результате появился еще один олигарх, которому и достались все трофеи. — Гонкуровский лауреат улыбнулся, показывая, что концовка (главное блюдо) еще впереди.

— Кто же? Кто же? Митрич? Бенедикт Васильевич? Кадик, наконец?! — хором спрашивали дамы.

— Ну, какие они олигархи?! Вы, пожалуй, не отгадаете...

— Говорите же!

— А Самсона Багратовича вы забыли!

— Неужели он?!

— Он самый. Сейчас ему в городе все и принадлежит — шахта, заводы, подпольные казино.

— И цирк?

— Разумеется.

— Ну, разбогател, все скупил — в том числе и цирк? Здесь все понятно. В чем же тогда мистика? — спросила одна из дам, принимавшая за мистику все то, что сложно и непонятно.

Гонкуровский лауреат ответил не сразу.

— А в том, что цирка давно нет. А на его месте теперь...

— Новое здание городской управы?

— Какой-нибудь склад?

— Стадион?

— Лагерь подготовки боевиков из числа филолов и фобов?

— Ну вы и скажете! Лагерь! Нет, монастырь со строгим уставом, неусыпаемой Псалтырью, явлениями Пречистой и чудотворной иконой. И игуменья в нем — бывшая примадонна, воздушная гимнастка и жена директора. В этом и вся мистика, — сказал гонкуровский лауреат так, словно проще и понятней, чем мистика, ничего быть не может.

— Надо же! Монастырь, — посетовала дама, разочарованная тем, что концовка оказалась ниже ее требований. — И что же дальше?

— А дальше снова будет цирк, — возвестил пивчатый крепыш как бы от лица гонкуровского лауреата, который собирался что-то произнести, но теперь должен был пристыженно умолкнуть.